

КАМЕНЬ АСИЯТ

(Глава из повести)

Чтобы разгадать душу старого Аслана, чтобы постигнуть тайну его печально-мудрого взора, смущающего многих людей, нужно выйти в ясную погоду на берег непокойного Инжиджа, чуть севернее аула Деюко, и неспеша двигаться приречной долиной, не пропуская ни одного холмика, ни одного кургана, ни одного серого камня-валуна, косо наклонённого над землёй.

В стороне от берега, на склоне пологой горы, кое-где поросшей цепким терновником, вы заметите продолговатый камень, чем-то напоминающий надмогильные памятники черкесских кладбищ. Он угловат, шершав, испещрён извилистыми трещинами, облеплен лишайниками и мхами. Он похож на обломок утёса, неизвестно откуда здесь возникший. Время, солнце, морозы и ветры немало потрудились над его ликом, придав ему угрюмый старческий вид: глубокие морщины... неровные ямки, выточенные водой... седые клочья иссушенных трав... Но если хорошенько присмотреться к нему, если провести ладонью по его шершавым выступам, то можно различить на нём черты, смутно говорящие о человеке, о старании добрых человеческих рук. Вот эту затенённую грань, кажется, пробовали обтёсывать крепкой сталью: насечки, выбоины, следы зубила и молотка... Вот рядом с этим ярко-оранжевым мхом переплелись какие-то странно округлые извивы — полустёртые старые письмена... Наклонитесь поближе к ним, осторожно отодвиньте тёплый моховой платок, и перед вами отчётливо проглянет заглавная русская буква «А», немного искривлённая, зигзагообразная, будто прожжённая молнией. К этой букве плотно примыкает вторая, похожая и на «Г» и на «С», но скорее всего — на «С». Третью, наименее понятную, можно прочесть как «И» — желобки её, тоже выщербленные, незаконченные, больше других разъедены дождями, гуще других затянуты слежавшейся пылью, и хлопотливые муравьи проворно снуют по ним взад-вперёд... Ваши глаза, ваши руки с жадностью будут искать продолжения этих искрошенных, смутных начертаний, вы будете прилежно ощупывать каждую расщелинку, каждый бугорок на этом постаревшем камне в надежде обнаружить новые звенья порванной цепи, и всё же вам придётся с неутолённым любопытством опять и опять приникнуть к трём русским буквам — «Аси...» — на диком памятнике нет даже признаков какой-либо другой надписи.

Чьей же рукой положена здесь надгробная плита. И что значат эти буквы, образующие короткое, оборванное слово — «Аси...»?

В горах и долинах Черкесии можно видеть партии людей, вооружённых лопатами и кирками. Они раскапывают погребения, окутанные мраком седой старины. Они легко читают надписи на самых древних камнях. Им ничего не стоит проникнуть в самое сердце кургана, оваянного легендами и сказаниями. Это — очень учёные люди, знатоки старины, которым не трудно рассказать, как жили и что делали люди тысячи и десятки тысяч лет тому назад. Они обстоятельно растолкуют вам, каким народам и в какие времена принадлежали извлечённые из земных пластов тупые каменные топоры, изъеденные ржавчиной длинные мечи, хрупкие связки колечек, нивесть когда потерявших звон и цвет металла, узкогорлые, в трещинах, чёрные кувшины.

Эти, очень образованные люди, доведись им попасть в долину реки Инжидж, севернее аула Деюко, наверное, попытались бы объяснить происхождение одинокого серого камня, затерянного в кустах сурового терновника, а, возможно, они прошли бы мимо, совсем не заинтересовавшись обыкновённым обломком утёса с обыкновёнными, хотя и непонятными буквами — «Аси...» Да и что, в самом деле, могут сказать учёному человеку эти простые, без признаков глубокой древности каменные знаки?

Лучше всего, пожалуй, обратиться к здешним степенным жокакам сенокосных бригад, глубокомысленным пастухам и чабанам, с малолетства исходившим вдоль и поперёк родные луга и взгорья. Они должны бы знать, как и когда появился загадочный камень с загадочной надписью. И они знают, конечно. Но вот что странно: как только заведёте вы речь о необычном памятнике пустынных мест, на лице вашего собеседника немедленно появится тень угрюмости и смущения, а то и печаль. «Нехорошо... нехорошо было!» — скажет он, качая головой, и отвернётся, умолкнув. Так угаснет беседа с одним, другим, третьим... Наконец, кто-либо из седобородых со вздохом произнесёт: «Да, Асият... была Асият!» — и тоже умолкнет, раздумывая, и морщинистая, узловатая рука тихо пройдёт по трещинкам и морщинкам безхитростных букв. «Асият? Аси...ят?» —

воскликните вы, обрадованный и поражённый открытием, которое ещё больше возбудит ваше разгорячённое любопытство. Кто же она, эта безвестная Асият, эта таинственная черкешенка, отброшенная вместе с камнем далеко от родного аула? И вы опять ласково проведёте ладонью по извивам недописанного слова — Асият, Асият! — и малоприметные знаки, прежде нелюдимые и холодные, покажутся вам осмысленнее и теплее, будто живое тепло воскресшего человеческого имени разлилось и затрепетало в каждом каменном завитке: «А сама она... сама она здесь? Под этой глыбою?» И снова кивнёт головой седобородый, не показывая вам своих обеспокоенных глаз. Трудный разговор на минуту замрёт на полуслове... «Она была молодая, красивая?» «Да, молодая, красивая...» — глухо повторит старик и немного погодя с грустной медлительностью, словно заглядывая в самую глубину своей души, полушёпотом добавит, что Аслан, ныне седовласый, Аслан, никогда не растающий с посохом, тоже был тогда молодым и красивым. «Аслан? Аслан из аула Инжидж?» «Да, Аслан из аула Инжидж...» Асият и Аслан... Что же переплело друг с другом два эти имени, две человеческих судьбы, две жизни, одна из которых давно угасла под тяжёлым, бесприютным камнем, а другая ещё бродит по земле, мудрая, но догорающая? Почему вслед за девичьим именем Асият, ласковым и нежным, как тихий звон струны, эхом отзывается второе, звонкомужественное и гордое — Аслан?.. Вы будете пытливо глядеть в лицо своему собеседнику, молчаливо волнуясь, предугадывая удивительную, страшную и, конечно, кровавую драму в духе черкесских легенд и сказаний, разыгравшуюся много-много лет тому назад в пределах этого взгорья, этой долины, этой шумливой, неуживчивой реки. Ну говори же, говори, старинный житель аула Деюко, кому как не тебе доподлинно знать сумрачную историю таинственного камня!.. И наверняка может случиться, что вы больше ничего не услышите от задумчивого деда с деревянными вилами или с пастушьей палкой в руках. Низко опустит он взгляд и, переступая тяжело, пойдёт к своим валкам сена или к своему стаду коров, будто неся невидимое бремя. Не успокоившись, вы заговорите ещё с одним, таким же старым, черкесом. Скупой на слова, как и прежний, заставляя вас томиться и ждать, он может совсем не упомянуть про девушку, от которой осталось только недописанное имя на замшелом камне, но зато присмотревшись к извивам грубых каменных знаков, как бы для себя, скажет, что Аслан не успел полностью написать заветное слово — вырубил всего три буквы. «Не успел, не успел...» «Аслан? Тот самый Аслан из аула Инжидж?» «Да, Аслан из аула Инжидж...» «А разве... разве умел он писать? Разве он грамотный был человек?» Не удивляйтесь, если не сразу и не прямо ответит на ваши нетерпеливо-горячие вопросы и этот долголетний житель аула Деюко, свидетель и участник многих событий, отшумевших в долине черкесской реки. Повторяя повадку своих седоусых сверстников, он тоже нахмурится, склонит голову, избегая вашего взгляда, и опять, как бы беседуя с самим собою, медленно заговорит: «Когда вернулся из дальних земель... Когда вернулся из холодных земель... Тогда и написал...» «Значит... значит, он уходил отсюда? Он надолго уходил?» На этот раз ваш собеседник, по всей вероятности, прямо взглянет вам в глаза: «Аслан не уходил — его увезли... увезли в железных цепях!» Железные цепи... это же кандалы арестанта, тюремные решётки, далёкая Сибирь! Неужто, неужто Аслан мог... Среди светлостальных, оранжевых, коричневых и красноватых лишайников, облепивших безмолвный камень, вам почудится кровь, и зигзаг заглавной остроконечной буквы на какое-то мгновение покажется тенью стремительного кинжала. «А за что же... заковали его в цепи?» — спросите вы, плохо справляясь с охватившим вас волнением. Минуты будут томительными. Старик словно забудет про вас, и голова его склонится ещё ниже. Вы пошевелинётесь, молчаливо напоминая о себе, не в силах повторить свой вопрос, и седобородый ответит совсем невнятно: «Худо было Асият... Худо было Аслану... Худо было всем... Худо, худо!» — и побредёт по взгорью неспешной походкой утомлённого годами человека. Если он табунщик, то звякнет, удаляясь, перекинутая через плечо уздечка.

Странные люди эти древние черкесы из аула Деюко! Почему они так смущаются, почему становятся такими неразговорчивыми возле угловатого камня с недописанным именем несчастной девушки? Или роль Аслана в полузабытой драме была настолько неприглядна, что о ней совестно вспоминать? Или тут запрет какой положен, непоколебимо суровый, скреплённый кровью запрет старины? Разобраться нелегко. И нелегко покинуть этот отчуждённый памятник, не разгадав его тайны.

Вернее бы всего встретить у камня самого Аслана, чтобы вместе с ним встать лицом к трём буквам, одна из которых напоминает тень занесённого клинка... «Аслан бывает здесь?» — с робкой осторожностью спросите вы у своего случайного собеседника после тщетных попыток узнать что-

либо связное от него самого. И опять,— в какой уже раз!— услышите весьма расплывчатый ответ: «Бывает, бывает... Раньше приходил... как же, приходил...» Знакомая скрытная неопределённость, знакомые уклончивые жесты. А теперь то... теперь он бывает?—ещё жарче и настойчивее станете допытываться вы, забыв на время о тонкостях обращения с людьми, убелёнными сединою, и, с жадностью вникая в скупые, обрывистые недомолвки, всё-таки поймёте, что Аслан и теперь изредка приходит сюда, но увидеть его почти невозможно.

Это удаётся иногда только ночным табунщикам, когда они спускаются со своими косяками в приречную долину. Аслан избегает докучливых свидетелей. К тому же приходит он на это взгорье не в пору цветения терновника, а чаще всего холодной осенью, когда сизо-фиолетовые ягоды на колючих ветках покроются изморозью, когда глуше станет шум Инжиджа, одетого с обеих сторон хрустким льдом. Но почему же, почему же—в такое суровое время? Изморозь, холод, река во льду, пронизывающий ветер... Или и здесь своя, особая тайна? Нет, не ждите больше внятного слова от вашего старого собеседника. Напоминание о ненастной поре, о похрупывающих льдинках окончательно свяжет, скуёт его речь, в глазах у старого проглянет мучительная тоска. С чего бы это? Нет, лучше оставьте в покое человека, изборождённого морщинами, согбенного годами.

Молчат, смущаются старики, не хотят договаривать до конца, верные какому-то таинственному заруку или голосу своей строгой совести.

А тайна угловатого камня с тремя недописанными буквами уже глубоко захватила вас. Асият и Аслан... Далёкие, молодые вёсны... И что то страшное, о чём глухо намекает народная молва... И звон кандалов, умолкший в Сибирской тайге... И этот печально-мудрый взгляд мудрого старца... И всё, всё связано, всё переплелось с короткой каменной надписью, укутанной, как глухоманью десятилетий, лишайниками и мхами!

Молчат старики. Молчит скорбный камень. Но не отчаивайтесь, не покидайте хмурого взгорья. От шумливой воды, от зелёных лугов до вас долетят песни, очень юные и звонкие,— песни девушек. Молодые черкешенки будут петь об известной всем милой Катюше, которая выходила на берег весенней реки и посылала привет своему возлюбленному. Они будут петь о храбром джигите и его красивой подруге — колхозной звеньевой, о том, как цветут в поле подсолнухи и наливаются пшеница, как ожидает свою свадьбу счастливая пара. И вдруг весёлый мотив спадает, насторожённо прильнёт к земле, утихнет, а вместо него поднимется совсем иной, горестно-раздумчивый, тоскующий, будто оплели песню безысходные туманы и тягучие прибрежные былинки, что печально склоняются над водой, будто материнский плач напитал её своим безутешным горем—о-о-ой! о-о-ой! И эта песня жгуче коснётся вашего сердца, пронзая, заполняя всю вашу душу, и вы отчётливо различите в нежных звуках очень знакомое и тревожное слово — Асият, Асият!.. Истерзанная и окровавленная, бежит Асият под градом камней, под градом беспощадных ударов, и никто не хочет смилостивиться над нею. О, нанэ, милая нанэ*, спаси свою дочь! Асият бежит к реке, простирает с крутого берега измученные руки и кричит, как серая птица—речная рыдалица; о, мой возлюбленный, избавь меня от страшной смерти! Но никто не отозвался на её голос, на её муки! О-о-ой! О-о-ой!.. Незаметно для самого себя вы пойдёте за песней, силясь постигнуть весь потрясающий смысл её, силясь в полный рост увидеть судьбу бедной Асият, бедной любви, забитой камнями... Пойте же, пойте, девушки, до конца, поведайте в чистых, печальных звуках, что случилось с вашей далёкой подругой, откуда возник на взгорье погребальный камень с тремя обомшелыми знаками и отчего такие скорбные очи у старого Аслана!.. Но молодые черкешенки могут не услышать вашего призыва. Махнут они чёрными косами, вскинут грабли на гибкие плечи и пойдут своею дорогой в сладких ароматах трав, и песня опять переменится, взмлет из грустной низины к голубым лесам, опять зазвонят в ней серебряные колокольцы, зальются хрустальными голосами жаворонки, затрепещут солнечные струны, звонкие и золотые, и снова поскачет счастливый всадник навстречу милой девушке — колхозной звеньевой...

Асият, Асият! Кто же расскажет о твоей загубленной весне, о твоей любви, похороненной под тяжким обломком камня? Будут шуршать рядки сена под вашими шагами, будут шелестеть ещё не скошенные травы и стелющиеся ветки кустов, будто сама земля начнёт нашёптывать вам удивительную и таинственную быль, о которой не досказала удаляющаяся песня, а немного погода может повстречаться седой, но не совсем древний старик с бодрими, ясными глазами. Он

* нанэ—мать

общительно ответит на ваше приветствие и что-то упомянет о песне. Хороша, хороша, дескать, песня про Асият! всю душу переворачивает! И хороша ещё тем, что слушает он её с незапятнанной совестью. Он ни одного камня не бросил, даже самого маленького. «Какого камня? Зачем? Когда?» «В песне правильно говорится: градом летели камни в Асият, а я не нагнулся к земле, чтобы поднять свой камень... Я только смотрел и дрожал... Я тогда был ростом по колено взрослому мужчине...» «Значит, ты всё видел? Ты помнишь?» «Помню, помню...» — ответит старичок, и ясные глаза его заметно затуманятся: «Худо делали, худо!» Почти не сговариваясь, молча понимая друг друга, подойдете вы к одинокому, затерянному на взгорье памятнику. Те же неровные грани, отбитые, грубые углы... Те же оранжевые и красноватые заплата лишайников... Те же три буквы, три каменных знака, незаконченное слово... Асият, Асият!.. Но теперь песенное имя будто отделится от мёртвой глыбы, от зубчатых насечек, от пересохших мхов... Рассказ старика пойдёт не гладко и не прямо, он будет и спускаться до шёпота и совсем обрываться, от ближних лет кружить к дальним, потом обратно, то проясняясь, то затуманиваясь. Выговаривая свои нелёгкие слова, рассказчик будет гладить травинки, которые окажутся между вами и камнем. И зелёная трава словно начнёт вплетаться в живую речь, придавая ей ещё больше живости и достоверности. Цветы и травы, отголоски дальней девичьей песни, которую вы недавно услышали, пахучий ветерок приречной долины — всё, всё будет помогать тому, чтобы из слов вставали картины, чтобы почти угасшая была поднялась трепетной явью.

Возможно, что к вам присядет ещё один старичок с открытым взглядом и доброй речью. Возможно, и ещё одна песня отзовется неподалёку, протяжно и грустно повторяя имя, начертанное на камне,— Асият, Асият!— но вы уйдёте из долины реки Инжидж с томящей загадкой в душе.

Песня рассказывает об Асият, красивой девушке с огромными чёрными глазами, блеск которых не уступал сиянию вечерней звезды, с длинными шелковистыми косами, которые, расплетаясь, падали на белые плечи, подобно дорогой шали, привезённой из большого русского города. Но живые люди помнят Асият ещё и другою — маленькой, худенькой девочкой—сиротинкой, выросшей на сухом чуреке.

В ауле Деюко, на самом заброшенном конце его, против шумливой реки Инжидж, стоял камышовый домик вдовы Нысэаф. У этой бедной женщины чёрная смерть отняла однажды хозяина-мужа и всех детей, кроме малолетней дочки по имени Асият. Хотя верный слугитель пророка эфенди Шагит-Али непререкаемо утверждал, что такова верховная воля аллаха, что печалиться об ушедших — большой грех, несчастная мать надолго затаила тоску в своём сердце. Когда, возвращаясь с поля, она протяжно выкрикивала — «Аси-я-ят! Аси-я-ят!»,— голос её напоминал надрывный плач острокрылой птицы, мечущейся над болотом в ненастную пору.

На призыв нанэ девочка или выбегала из зарослей кукурузы, окружавшей тесный дворик, или, осыпая босыми ножками песок и щебень, поднималась от реки по крутому обрыву. Руки её почти всегда были заняты какими-либо диковинками: розовыми ракушками, нанизанными одна к другой наподобие бус, царапающими кожу золотыми жуками, зёрнами фасоли самой занимательной расцветки. Иногда Асият приносила «камешек счастья»— круглый, гладко обточенный камешек с глазком посередине. Если повесить его на шею корове — она щедро прибавит молока. Если прикрепить его к домашней маслобойке — она никогда не будет стоять без дела. Во дворе у Нысэаф не было коровы, а в доме— маслобойки, и всё же горемычная вдова всякий раз хвалила дочку за удачливую находку:

— Ты — моя радость, ты — свет моих очей! Подожди, подожди, ясноглазая, мы с тобой ещё увидим счастье!

Сердце скорбящей женщины не напрасно ожило для больших надежд. Послушные дети эфенди знали, что человек, ступивший в его двор, на шаг приближался к блаженному раю, а тот, кому довелось хотя бы один день потрудиться на этом священном дворе, сбрасывал со своей души изрядный груз прегрешений, и небесный владыка рано или поздно, но должен был отметить достойного. Нысэаф стала ежедневно ходить во двор эфенди Шагит-Али. Она ежедневно работала здесь от зари до зари, работала, не жалея своих истощённых сил, работала с той робкой и безотказной настойчивостью, с тем горячим упоением слепой веры, когда человек забывает самого себя. Она подметала обширный двор и убирала просторные комнаты. Она кормила прожорливые стаи кур, индеек, гусей и уток. Она стирала бельё для многочисленной семьи слугителя пророка. Она выполняла и ещё одно дело, самое тонкое и почётное, от которого в страшном и сладком трепете дрожали её исхудавшие руки,— она вытряхивала и расстилала молитвенный коврик эфенди

Шагит-Али, густобордовый шерстяной коврик с золотым изображением минарета, с золотым полумесяцем и звездой. Каждая нить, каждая блеска на этом драгоценном коврике, привезённом из Мекки, дышали святостью, были наполнены суровой, гневной и непостижимой волей аллаха. Подобно всем женщинам, существам слабым и грешным, Нысэф не имела доступа в святую мечеть, не видела, как эфенди Шагит-Али раскрывает тяжёлую книгу пророка, не слышала, как провозглашает он грозные слова молитв и заклятий. Но у неё было великое преимущество перед множеством её безгласных, покорных сестёр: она могла ежедневно прикасаться к чудотворному коврику, к тому коврику, на котором сам эфенди Шагит-Али в урочный час беседуете пресветлым аллахом. Это ли не безмерное счастье!

Несмотря на свой пожилой возраст, эфенди Шагит-Али был высок ростом, прям; в рыжих его усах и бороде не было ни одного седого волоса; сощуренные глаза горели острыми огоньками; на скулах проступали пятна яростного старческого румянца. Многодумную голову эфенди украшала пышная чалма из чистейшего белого шёлка, а от мужественных плеч до носков сафьяновых сапог ниспадал широкополый аба — величественный халат, тоже сшитый из дорогой шёлковой ткани. И белоснежная чалма, и белоснежный аба были высокими отличиями того, кто совершил душеспасительный подвиг, кто, презрев мирские блага, измерил длинный путь от Кавказа до святой Мекки и обратно. Закон аллаха давал эфенди Шагит-Али ещё одно право — прибавлять к своему высокочтимому имени божественное слово—хаджи. Так его правоверные и звали:

— Хаджи Шагит-Али.

Убирая комнаты, Нысэф имела возможность прикасаться не только к тёмнобордовому коврику с золотым полумесяцем и звездой, но и к белоснежному аба, когда он покоился на вешалке, в почётном углу. Однако она ни разу не сделала этого, считая себя недостойной даже слушать шуршащий шёлковый шелест его.

Если бы кто попытался заглянуть в робкую душу бедной черкесской вдовы, допущенной к очагу самого хаджи Шагит-Али, он увидел бы там совсем немного чувств — постоянный страх, смешанный с робким удивлением, и постоянную готовность выполнить всё, о чём только намекает взглядом господин, облачённый в священные одежды. Насэф всегда пугалась и удивлялась, переступая порог богатого жилища эфенди, а удивляться было чему. Особенно повергали её в трепет таинственные дуа, эти аккуратно исписанные рукою хаджи Шагит-Али треугольные бумажки, предназначенные для всех, кто хотел удачи, счастья и благополучия в своей жизни. Дуа обладали великой силой, потому что были испещрены словами, взятыми из премудрой книги пророка, потому что вместе с чернилами на них проливалась, пропитывая Собою, непреоборимая мощь аллаха. Похожие друг на друга по виду, дуа имели различное назначение. Одни предохраняли от дурного глаза, другие—от злого духа, третьи—от вражеской пули, четвёртые — от болезни, разносимой ветром, пятые — от недоброй встречи в пути. Чтобы понять всё многообразие добра, которое приносили правоверным благодетельные талисманы, достаточно было взглянуть на людей, осаждающих усадьбу хаджи Шагит-Али. Здесь горячили поджарых коней дерзкие всадники в пропыленных, залатанных бешметах, взявшиеся неизвестно откуда. Сюда приезжали на скрипучих арбах, запряжённых быками, степенные бородатые пастухи в широкополых войлочных шляпах, у каждого на возу торчали из сена рогатые головы баранов. Поодаль от мужчин смиренно жались у забора тихие женщины с печальными, выжидающими взорами; многие из них держали на руках младенцев, бледные личики которых были покрыты болячками или красной сыпью. Иногда во двор эфенди приводили людей, опутанных арканами из конского волоса, дёргающихся безумцев с выкаченными глазами и с пеной на губах. И каждый жаждал помощи, исцеления, надёжной защиты. Каждому хотелось получить из рук эфенди священный дуа, всесильный дуа, как самую бесспорную и наглядную милость аллаха. И хаджи Шагит-Али никому не отказывал — ни старому и ни молодому, ни мужчине и ни женщине, ни ближнему и ни дальнему. Никому не отказывал и ни с кого ничего не брал за свой таинственный труд. Правда, под святой день — пятницу — на закате солнца какие-то упрямые черкесы то и дело вталкивали во двор эфенди упирающихся косматых баранов и клали у порога индеек и кур, а сумрачными ночами воровато-расторопные всадники пригоняли хаджи Шагит-Али утомлённых коней с закрученными хвостами и не здешним клеймом. Но это были только подарки тому, кто так бескорыстно, с такой заботливостью пёкся о душе и теле правоверных.

Нысэф каждодневно наблюдала раздачу дуа, и всякий раз в её сердце загоралось робкое желание: как было бы хорошо обзавестись хотя бы одной бумажкой с божественными письменами! Не для себя, конечно, а для беззащитной сиротки Асият — храните ее небесные силы! Но

проходили дни и месяцы, а бедная вдова никак не могла набраться смелости, чтобы заговорить с эфенди о своей сокровеннейшей заботе. Однако не даром жители многих аулов называли хаджи Шагит-Али провидцем человеческих помыслов и слабостей. Однажды он сам предложил Нысэаф долгожданный дуа:

— Носи во имя пророка. Этот дуа предохраняет от злого духа.

Она взяла священный листок и от радости не знала, что сказать. Рука её чуть подрагивала, в глазах показались слёзы. Она готова была упасть на колени перед добрым эфенди. А он, шурша широким рукавом своего белого аба, протянул ей новую бумажку, исписанную ещё лучше первой:

— Этот дуа предохраняет от злого глаза. Пускай носит его на пруди твоя красавица дочка.

Хаджи Шагит-Али сказал слова, взволновавшие старую мать до глубины души, и пошёл в мечеть.

Тогда Нысэаф не смогла дольше сдерживать своих накипевших слёз. Ну чем же сможет она отблагодарить эфенди за его великую милость? Надо бы, по примеру других, привести под пятницу в этот двор жирного, с толстым курдюком барана, но в большом стаде, усыпавшем приречные холмы, нет ни одного самого захудалого барашка, который бы принадлежал ей. Можно бы сделать подарок и поменьше — принести сюда пару тяжёлых, с нежным жиром и красивыми перьями индеек, но в её крохотном хозяйстве не водятся эти дорогие птицы. Если взять подмышку двух сереньких, лёгковесных кур... А вдруг обидится и прогонит её со двора суровый слугитель пророка, добрый и неумолимый хаджи Шагит-Али? Угнетаемая сомнениями, радостью и тоскою, Нысэаф придумала только одно: вместо богатых подарков она отдаст почтенному дому эфенди всю силу своих жилистых, натруженных рук, всю преданность своего многотерпеливого материнского сердца. Уж она постарается, лишь была бы счастлива её голубка—дочка!

В сумерках по дороге к родному очагу Нысэаф решила оба дуа повесить на шейку милой Асият. Пускай берегут её таинственные листки и от злого глаза, и от злого духа, а она, старая, измученная работой и горем, как-нибудь проживет по милости аллаха.

Долго не ложились спать в тот вечер мать и дочка. Повесить на грудь священный дуа — совсем не простое дело. Для этого требуется и кусочек белой материи — узкая лента, и немного чистого воска, и обрезок тонкой кожи (всего лучше, конечно, сафьян), и проволочный крючок, не говоря уже о крепкой нитке, скрученной из шерсти тёмной овцы — поярки. И всё это нужно было разыскивать, выпрашивать у лавочника, у сапожника, у зажиточных соседей. Наконец-то плавится над углями в жестяной баночке светлый воск, и взволнованная Нысэаф опускает в него ленточку белейшего миткаля. Вот и ленточка готова — пропиталась душистым пчелиным клеем, сквозь него не проникнут ни сырость, ни дурной запах. Шепча слова непонятной, трудной молитвы, Нысэаф тщательно завернула в проволочный миткаль драгоценные бумажки, потом зашила их в кожаный лоскуток и, прикрепив проволочную петлю, продела в неё прочную, как струна, и чёрную, как брови Асият, отличную шерстяную нитку. Разведя руки с концами нити, она радостно и тревожно смотрела в лицо своей девочки, в большие черные глаза её, полные детского света.

— Это — тебе... тебе, Асият... Будешь здоровой и красивой... Счастливой будешь, моя дочка, на всю жизнь! — обнимая шейку и плечи своей девочки, она связала концы позади, там, где над проступающими косточками свисают густые, кудрявые волосы. Она завязала нитку крепким узлом — на всю жизнь. Она расстегнула воротничок ситцевого платья дочери и опустила туда — к бьющемуся сердцу маленький кожаный мешочек, бесценный дуа, залог нерушимого благополучия, дар небесных сил. — Носи, никогда не расставайся с ним, моя доченька, моя кровинка. Да хранит тебя пророк! — И только сейчас, обнимая Асият, заметила бедная мать, как выросла ее девочка, какой красотой наливается. Всякие глаза будут смотреть на неё — и добрые и злые. Но теперь можно не опасаться злого глаза: на груди у Асият висит могущественный, священный дуа!

Река Инжидж занимала главное место в жизни Асият. Пенисто-бурливая летом и утихающая зимой, то окаймлённая зеленью трав и кустарников, то отороченная белым мехом снегов, она была настоящей подругой для одинокой, застенчивой девочки. Асият любила её непокойную воду, будто сплетённую из множества певучих, торопливых струй, иногда прозрачных, как голубое небо, иногда мутножёлтых, как прибрежный песок. Любила её гладко обточенные цветистые камешки, которые так весело погромыхивали под ногами, и немного побаивалась больших исщерблённых камней, затаивших нивесть какие угрозы. Любила подолгу смотреть, как легко и свободно скользят над нею смелые ласточки, как ныряют, крикая и опрокидываясь в бурунах, неутомимые утки, как борются с быстрым течением, важно выгнув шеи, белые гуси.

На реке всегда происходило что-либо интересное. Днём в ясную погоду бездонная глубина её наполнялась светлыми облаками, а вечером там загорались звёзды, яркие и дрожащие, там поколыхивалась, дробясь, золотая луна, более живая, чем на небе, и вода не гасила этих нарядных огней, забавлялась ими всю ночь. После грозových ливней, бушевавших над горами, Инжидж ревела, как стадо бешеных быков. Страшно было глядеть на её тёмные, гривастые волны, в которых с грохотом кувыркались огромные валуны и какие-то косматые чудовища, страшно было вслушиваться в её многоголосый гул, от которого кружилась голова и жутко замирало сердце. Прижав кулачки к груди, будто защищаясь, девочка испуганно пятилась назад, всё дальше и дальше от разъярённой реки, но холодные брызги настигали её, попадая в глаза, на щёки, за шею, и клочья кружевной пены, взмётываясь над головой, казалось, достигали камышовой крыши невысокого домика. «Аси-я-ят! Аси-я-ят!» — раздавался тогда сверху печальный и тревожный оклик, похожий на стон птицы, подхваченной ураганом, и радостно было отзываться на родной материнский голос: «Ау-у-у! Ау-у-у!»

Очень занимателен был противоположный берег, более ровный и отлогий, с десятками дымящихся труб чужого многолюдного аула. Всё представлялось там загадочным, необыкновенным: и дома, и деревья, и люди, и лошади, и собаки.

К воде частенько прибегали толпою крикливые мальчики. Они скакали на палках, изображая лихих наездников, или, закатав штаны, забирались в реку, плескались, поднимая весёлую возню. Иногда сюда приходил только один мальчик, босоногий, бритоголовый, как и другие, в синей, приметной рубашке. Он тоже выдумывал всевозможные забавы, но больше всего любил бросать камешки, — изогнётся, изловчится и — раз, два! — запрыгала по воде, будто лягушка, маленькая, с ладонь, кремневая плиточка. Бывало, такая игрушка стучалась почти у самых ног Асият, и тогда шалун задорно кричал: «Лови, лови!» Однажды он прокричал особенно звонко: «Лови, лови, твоя будет!» К ногам девочки прилетел круглый камешек с глазом посередине, «камень счастья», первый из тех, которыми она порадовала свою мать.

Выходя на берег, Асият прежде всего искала взглядом синюю рубашку на той стороне. Если мальчик не появлялся, ей было немного грустно, словно у реки чего-то не хватало. И малолетний джигит тоже, как видно, привык к ней, молчаливо-доверчивой и необидчивой. Он с большой охотой перекидывал замысловатые камешки, храбро залезал в ледяную воду, опрокинувшись на руки, смешно болтал в воздухе загорелыми ногами. Солнечным весенним утром, когда река пела и сверкала, полная дрожащих серебряных струн, он крикнул, напрягая хриловатый, простуженный голос:

— Как тебя зовут?

Чуть помедлив, она ответила:

— Асият... Асият...

Она ответила совсем негромко, и на чужой берег донеслись только неясно-певучие звуки её имени, напоминающие отдалённый свист стрижа:

— Ас-с-сия...

— Как тебя зовут? — переспросил мальчик.

Смутившись, она убежала по крутой тропинке к дому.

Одно лето прошло без мальчика в синей рубашке, — он ни разу не показался на реке. И Асият заметно скучала, приглядываясь к заросшему абрикосами и черешнями дворику, откуда, бывало, выскакивал занятный мальчик.

Упал и растаял в своё время снег, вода в реке опять набралась сил и заиграла, как прежде. Однажды маленький джигит снова появился на берегу. Асият не сразу узнала его, да и трудно было узнать. Теперь он выехал не на ребячьей палке, а на самом настоящем коне. Теперь он носил косматую папаху и узкий в талии бешметик, перехваченный наборным пояском.

Когда лихой джигит выскользнул из седла и на поводу подвёл к реке своего вороного, Асият удивлённо подумала: как же подрос этот хороший мальчуган!

Она стояла с белым полотенцем в руках, она тоже заметно подросла: мать доверяла ей полоскать бельё.

— Добрый день! — крикнул молодой наездник, крикнул не громко и не тихо, а так, чтобы слышала только она.

Асият молчала, опустив концы полотенца в воду. Щёки её залил горячий румянец.

— Добрый день! — повторил джигит, поигрывая ремённым поводом. Но ответа он не услышал. Девушка, как и раньше, поспешно скрылась в прибрежных кустах.

Когда зацвели алыча и терновник, он опять приехал напоить коня. В руке у него покачивалась зелёная ветка с белыми цветами. Он даже напевал что-то весёлое.

Асият стояла на розовом камне, а белопенные струи кипели вокруг её смуглых босых ног.

— Лови! — крикнул он, как бывало кричал в прежние годы, и весенняя ветка взвилась над рекою, но, не долетев и до середины, упала в бурливые волны, в клокочущую пену. Вода подхватила белые цветы и понесла, безжалостно ударяя их о камни и коряги.

Минули ещё одно лето и ещё одна зима. Асият заметила, что люди охотнее начали поглядывать на неё: молодые улыбались, старые одобрительно кивали головами. Она стыдилась этих взглядов, а в душе радовалась им, смущённо скрывая свою тревожную радость, и ей почему-то хотелось всё чаще и чаще выходить на реку, смотреть и прислушиваться — не скачет ли на той стороне вороной конь с красивым всадником.

У ней не было никаких нарядов, кроме светленького ситцевого платья в бело-розовых цветочках, уже поблекших от стирки и солнца, и она не привыкла проводить досуг со своими более счастливыми ровесницами. Но как-то в праздничный день, преодолев робкую застенчивость, она пошла с гурьбою девушек к известной на всю Черкесию башне Адиух, вставшей на высокой скале против реки Инжидж, неподалёку от аула Деюко.

Эта горделивая, четырёхугольная башня, издавна прославленная седовласыми песенниками и сказителями, жила в каждом молодом сердце. Трудно было найти такую юную черкешенку, которая не собиралась бы хоть раз побывать в её таинственных стенах, прикоснуться к её древним гранёным камням, оставить в ней — на счастье — ленточку или лоскуток, своей одежды.

Асият тоже трепетно ждала того часа, когда она поднимется в жилище светлорукой Адиух. Скромная девушка не однажды выходила тёмным вечером на берег и пристально, пока не заслезятся глаза, смотрела в сторону скрытой во мраке башни. Она совершенно ясно представляла себе лицо несравненной красавицы, видела, как эта нежная, мудрая подруга богатыря открывает высокое окно и бросает во тьму длинный и широкий волшебный холст, а потом, заслышав топот многих табунов, простирает навстречу возлюбленному свои трепетные руки... Светятся тонкие, белые пальцы, светятся косяки шёлковых рукавов, обшитых золотом... В непроглядной мгле сияет мгновенно вспыхнувшая дымчатая лунная полоса... Полотняный мост, натянутый над бушующей рекою, волнуется и колеблется, упруго гудит под тяжестью бесчисленных коней... Эгей, эгей! — раздаётся могучий оклик. Впереди скачет он, весёлый и мужественный, и жеребец под ним — вороной, с белой звёздочкою на лбу... Всякий раз, оживляя в своей душе сказочные картины, Асият видела на полотняном мосту знакомого вороного коня, а сам наездник — нарт был очень похож на молодого джигита с чужого берега. Даже цветущая ветка благоухала в его руке.

С затаённой радостью вошла она в чудесную башню, и светлорукая Адиух не обманула её ожиданий. Всё тут было огромно, необыкновенно, высоко. Пороги — в рост человека. Плиты — больше стола. Вместо крыши — синее небо. Голоса девушек, тихие, приглушённые в ауле, здесь звучали громко и звонко, удесятирённые неизвестною силой. Посмотрела Асият в окно — и сердце её сладко сжалось: какой простор вокруг! Как далеко убегает серебристая река! А солнечные лучи протянулись подобно сказочному полотняному мосту — над водою, над аулами, над скалами... О, светозарная Адиух! Слава тебе и благодарность!

Каждая из девушек оставила в башне памятный лоскуток. Асият тоже прицепила на каменный выступ узенькую ленточку от своего платья.

Она возвращалась домой, лёгкая и оживлённая, будто наполненная светом сияющей высоты. И подруги её были такие же милые легконогие певуны.

Взявшись за руки, они весело спускались по зелёному склону, то нагоняя бегущие прозрачные тени от облаков, то отставая от них, чтобы ещё быстрее ринуться в догонку. Смеясь и разговаривая, они не заметили, как по соседству с ними легла на цветы и травы ещё одна тень — летящая тень от коня и всадника. Асият оглянулась и опустила глаза, щёки её вспыхнули огнём. Это ехал он, молодой джигит с чужого берега! Она ни разу не видела его так близко и только сейчас поняла, насколько приятен был он её сердцу... Чёрные брови взметнулись подобно крыльям орлёнка. Горячие глаза смелы и ласковы. Они любят её и безмолвно спрашивают, вспоминают, узнают. Он тоже никогда не видел её так близко!

Девушки смущённо засмеялись и немедля свернули на гремучую тропку, сползавшую вниз. Асият побежала вместе с подругами.

— Как вас зовут?— раздался позади знакомый голос, и она поняла, что, спрашивая всех, он спрашивает только её, только к её сердцу обращены эти слова: «Как тебя зовут? Как тебя зовут?»

И она не ответила, не смогла ответить даже тихо, как однажды отвечала на реке.

Имя её молодой джигит узнал гораздо позже, когда подули холодные ветры, когда у берегов Инжиджа зазвенел ледяной настил и когда сама Асият не могла уже произнести ни одного слова.

Стареющая Нысэаф не обладала крепким здоровьем, различные немощи то и дело одолевали её: кружилась голова, ломило поясницу, подкашивались ноги. Иногда в глазах становилось так темно, что она не могла отличить цветистых индеек от белых гусей,— тогда всё на обширном дворе эфенди плыло перед ней, как в тумане.

Когда было особенно трудно, ей хотелось набраться смелости и выпросить у могущественного хаджи Шагит-Али ещё один дуа, священный дуа, избавляющий от изнурительной болезни, но всякий раз при встрече с грозным хозяином решимость покидала её, и робкая вдова придумала только самый простой выход — начала брать с собою дочку, расторопную и сильную помощницу.

Тихо, почти не дыша вошла Асият в широкие ворота. Она ступала, не чувствуя своих ног. Она глядела и не понимала, что видит. Ей было страшно. Казалось, отовсюду здесь смотрит притаившийся жестокий бог, даже из толстой, рогатой коновязи, даже из обыкновенного каменного забора. Она испуганно прильнула плечом к худенькому плечу матери: «Нанэ, нанэ...» А смиренная мать, не замечая её волнения, уже низко кланялась толстой, немолодой женщине, укутанной дорогим шёлковым платком с длинной бахромою. Женщина сидела на тяжёлом пне-обрубке перед двумя ковровыми мешками, набитыми, как снегом, белыми перьями, и неспеша перебирала своими короткими, красными пальцами это пушистое добро. Щёки её, усеянные тёмными крапинками, тоже были багрово-красны и жирны,— три подбородка упирались в нарядный платок. Ни словом, ни движением головы не ответила она на поклон вошедших, только мгновенно уколола девушку острым, недобрым взглядом.

Возле амбара с огромным замком на дверях повстречалась ещё одна женщина, чёрная и высокая, напугавшая Асият своим огненно-исступлённым взором, своей необыкновенной чернотой и худобой. В руке у неё покачивался сухо-закопчённый бараний окорок.

— Привела? Привела?— прошелестел горячий шёпот, и спрашивая, и угрожая.

— Привела, госпожа, привела,— испуганно проговорила мать, снова сгибаясь в почтительном поклоне. И Асият нагнулась точно так же.

Потом попадались какие-то пухлые, важные старухи, дети — большие и малые,— и всем им кланялась кроткая, измождённая мать. Она кланялась здесь не только людям, но и животным, и деревьям, и каменным стенам.

Мать указала на метлу, стоявшую в отдалённом углу двора, и чуть слышно сказала:

— Вот и начинай мести, доченька, ты убирай двор, а я пойду кормить птицу.

Привыкшая ко всякой работе, Асият усердно принялась за дело. Шуршала широкая метла, клубами поднималась пыль, и стало не так страшно, как в первые минуты, когда руки её ничем не были заняты. Одно тревожило и смущало душу: если не сегодня, то завтра она увидит самого хаджи Шагит-Али, увидит гневного служителя пророка, перед которым трепещут и слабые женщины и сильные мужчины. Однако и встреча с эфенди оказалась не страшной. Высокий, прямой старик в белой чалме и белом аба взглянул на неё сурово сощуренными, тут же повеселевшими, глазами и спросил у Нысэаф:

— Это твоя дочь?

Виновато склоняясь чуть не до земли, бедная нанэ растерянно пролепетала:

— Моя, моя... дочка, дочка... Помолитесь за неё аллаху!

И неприступный хаджи Шагит-Али тоже назвал Асият дочкою. Он великодушно разрешил ей вместе с матерью посещать его священный двор.

О, многомудрый и добрый эфенди, не даром ты носишь белоснежную чалму и белоснежный аба! Пускай великий пророк продлит твои дни до бесконечности! Нысэаф задыхалась от нежданно нахлынувшего счастья. Кто бы мог подумать, что её Асият, её беззащитная сиротинка будет дышать святостью этой усадьбы, будет шаг за шагом приближаться к пресветлому раю? А вот случилось же так, случилось...

Прошло несколько дней, и новая радость потрясла немощное сердце вдовы: хаджи Шагит-Али приказал Асият поставить дворовую метлу в угол и больше к ней не прикасаться. Отныне она должна убирать только комнаты, только одну комнату, в которой молится эфенди, в которой лежит божественный коврик с золотым минаретом, полумесяцем и звездой.

— Иди, иди, милая дочка, кровинка моя ненаглядная!— растроганно говорила мать, утирая рукавом слёзы,— видно, воссияла милость аллаха и над нашей скорбною долей. Уж ты постарайся, доченька ясная!

Как во сне, страшась и удивляясь, поднялась Асият в таинственную, наполненную прозрачным сумраком комнату. Прежде всего она увидела ковры, сказочное обилие богатых ковров. Они мягко лежали у неё под ногами, они одели собою низенький диван, они свешивались с просторных стен, и особо выделялся небольшой, тёмнобордовый коврик с золотыми знаками, которые, наверное, начертал сам аллах. В первые минуты Асият стояла, будто оглушённая пушистой тишиною узорчатого убранства, а потом ей захотелось немедленно уйти отсюда, убежать к матери, на свой тесный дворик, к своей говорливой реке,— о, нанэ милая, зачем ты привела меня в этот дом!— но убежать было уже невозможно. Хаджи Шагит-Али возвышался рядом — грозный, белый, непостижимый, и шелковый аба его шуршал как живой. Эфенди что-то говорил ей, касаясь её руки,— она понимала и не понимала рокошующие, наставительные слова. Она понимала только одно: это — жилище бога, всё тут жутко и необыкновенно и нельзя уйти из полумрака этих ковров, не выполнив воли господина, облачённого в светлые одежды. А хаджи Шагит-Али опять назвал её «дочкой» и даже «доченькой», он показал ей сияющий, как солнце, медный таз и узкогорлый, отблескивающий серебром кумган,* вещи, без которых невозможно совершать молитвенные омовения. Она будет приносить и выносить воду, она будет верной помощницей святого эфенди, когда он, расстелив золотой коврик, уйдёт своей душою в беседу с незримым аллахом, а всевышний наградит её здоровьем и красотой, наградит таким счастьем, о котором не смеет и подумать ни одна девушка из бедной камышовой хижины.

— Ты не бойся... не бойся меня, дочка Асият... Ты ничего не бойся в этом доме, осенённом благодатью вездесущего... Отныне ты будешь моей дочкою, Асият... нежно любимой голубкой-доченькой...— шептал, как на моленьи, хаджи Шагит-Али, и костистая рука его то касалась её плеча, то поглаживала её пышноволосую голову.

Асият переборола в себе и гнетущий страх, и непонятный стыд. Она бережно перетряхнула священный коврик, она принесла в кумгане чистой, ледяной воды и вылила её в звонкий таз, на дне которого сияло красивое девичье лицо — её лицо. Никогда ещё не дотрагивалась она до таких изумительных вещей, как этот таз, отразивший в своей улыбке её, живую, настоящую, как этот чудесный коврик, подаренный, как говорил эфенди, самим пророком, обитающим где-то очень далеко — за синими морями, в жаркой стране. Прекрасные вещи ласкали ей руки и наполняли радостью сердце, отгесняя холодящий страх, а голос благочестивого хозяина, смешиваясь с шелестом шёлкового аба, называл её всё нежнее: «Дочка... доченька... голубка Асият...»

Она приходила на усадьбу хаджи Шагит-Али вместе с утренней звездой, а уходила — когда на небе загоралась звезда вечерняя: первое молитвенное омовение эфенди начинал очень рано и последнее — заканчивал очень поздно. Она не всегда просыпалась вовремя, и тогда над нею склонялась, тревожа её своим шёпотом, кроткая мать:

— Вставай, вставай, доченька... Заря уже занялась — святая работа ждёт тебя... Сотворивший небо и землю милостив к нашей сиротской доле... Уж ты постарайся, родная!

Минула неделя, и материнское слово оправдалось ещё раз: эфенди подарил старательной Асият новенькое платье, пёстрое, как майский луг,— крупные розовые цветы переплетались на нём друг с другом, и на каждом цветке трепетал крылышками в синих прожилках золотой мотылёк. Такого удивительного платья не было ни у кого в ауле. Асият любовалась им вместе с матерью при свете коптилки, а потом, нарядившись в обнову, спустилась по откосу на берег Инжиджа, на то место с гремучими камешками, где она привыкла полоскать бельё, куда впервые прискакал к ней по воде «камень счастья».

* Кумган — кувшин для омовения, обыкновенно металлический.

Она стояла и смотрела на чужой берег, туманно-загадочный, волнистый, знакомый и незнакомый в лунном мареве. Вдалеке слышался стук копыт, поскрипыванье арбы, изредка неясные тени передвигались в серебристой мгле, но не было ничего похожего на высокую тень коня и всадника.

Тоскуя и ожидая, она протянула перед собою руки, тонкие, гибкие руки с лёгкими косяками рукавов, с золотистым роем весенних бабочек, устремившихся к лунному сиянию. Она стояла, как светозарная Адиух, и жемчужно-дымные лучи простирались вместе с её пальцами над бурливой рекой, над влажными камнями к тому берегу. И полотняные холсты чудились в пепельно-мерцающем воздухе тёплой ночи, и слышалось гуденье волшебного моста под копытами многих коней... Вот они — всё ближе, ближе, яснее... «Как вас зовут?.. Как тебя зовут?» — спрашивает ласковый голос из дальнего тумана, из певучих отблесков реки. «Асият... Асият...» — отвечает она и слышит только свой несмелый шёпот, похожий на шелест робких прибрежных ветвей, одетых лунной кисеёй. Никто не звал её, никто не подъезжал к струящейся воде, никто не посмотрел на её наряд.

И она опять опустила руки с красивыми, праздничными рукавами. И свет над рекою будто сразу же потускнел, затуманился.

Молча поднялась она по крутой тропке к своему сонному домику.

Ураза — мусульманский пост — в этот год пришлась на холодный осенний месяц.

Плохо одетая, отошавшая, Нысаф совсем ослабела и вскоре слегла. Асият одна ходила к хаджи Шагит-Али трудиться во имя аллаха.

Девушка была грустна. Узнав, какая забота гнетёт её душу, добрый эфенди немедленно написал дуа, исцеляющий от томительного недуга. Листок с божественными словами нужно опустить в чистую воду и держать в ней до тех пор, пока чернила строчек не окрасят собою чудодейственный настой. Если буквы ещё будут видны, их следует стереть пальцем: ни одна мельчайшая точка не должна остаться на бумаге. Каждый глоток такого питья прибавляет сил больному, и наконец наступает срок, когда... Эфенди не пожалел времени, рассказывая «дочке», как надо лечить бедную нанэ с помощью пророка.

Теперь хаджи Шагит-Али стал особенно внимателен и ласков к Асият. Он то и дело называл её доченькой, милой красавицей, сизой голубкой, иногда с его непогрешных уст слетали слова, о которых простая девушка не имела никакого понятия, а только догадывалась, что они или из молитвы или из песни. И не проходило дня, чтобы эфенди не угостил её какой-либо невиданной сладью — конфетою в яркой обёртке, кусочком рассыпчатой халвы, чёрной, сладкой плиточкой, завернутой в серебристую бумагу.

Если она, кончив работу, спешила покинуть священную комнату, он усаживал её на диван и предлагал отдохнуть.

Асият жила, как в туманном сне, когда бывает и жутко-тревожно, и занимательно, и хочется поскорее проснуться, увидеть дневной свет. Она понимала, что всеильный эфенди очень добр к ней и к её матери, но эта доброта всё время смущала её душу, даже в самых приветливых словах старика, повязанного чалмою, чудилось что-то нехорошее и опасное. Она всегда старалась не встречаться взглядом с его глазами, пронизывающими и колючими, но, даже опуская голову, отворачиваясь, чувствовала их сверлящее упорство. На скулах эфенди постоянно горели две заплаты румянца, два воспалённых, рваных пятна, — эти ядовито-красные, переменчивые лоскутки тоже не давали покоя её насторожённой стыдливости, будто накопились в них затаённо-тёмные, угрожающие ей побуждения недоброго старца.

В тот день, когда предстояло прогреметь по аулу ужасному делу, Асият заметила, что клочковатый румянец у хаджи Шагит-Али пылает особенно яростно, казалось, синие огоньки, как на чадных углях, перебегают в путанице пунцовых жилок.

И весь облик эфенди был какой-то иной: короткая, с проседью борода подстрижена ещё короче, длинные, рыжеватые усы на кончиках закручены в колечки, пронзающие глаза то озабоченно хмурятся, то в её блеск.

Как и прежде, Асият молча принесла в кувшине прозрачной, холодной воды, осторожно вылила её в сверкающий таз. Вод? дрожала и колыхалась, охваченная ясным кругом, и сама она еле удерживала дрожь своих похолодевших рук, своего неожиданно озябшего тела. Она видела себя на дне таза, в зыбкой, потревоженной глубине, напоминавшей и зеркало и речной омут; её глаза, прядки волос, золотистые мотыльки на платье струились и трепетали, будто смешиваясь с водой, и непонятные страх охватил её душу.

Не поднимая взора на эфенди, она привычно расстелила священный коврик, смиренно отступила в сторону, опустив руки, ожидая. Подает знак служитель пророка — и она уйдёт, оставив его наедине с незримым богом. Но на этот раз хаджи Шагит-Али не спешил молиться. Распахнув толстую книгу с чёрными кожаными крышками, он начал на распев произносить слова, ни одно из которых не было понятно Асият, — слова божественного писания, слова тёмного арабского языка. Она уже подвинулась к порогу и коснулась пальцами дверной скобы, как вдруг прошуршал белоснежный аба и эфенди повернулся к ней лицом с ярко горящими выпуклостями скул. Он останавливал её властным взглядом, останавливал певучими словами, теперь понятными и всё же странными, будто подёрнутыми горячим туманом.

— О, сладость уст, пылающих подобно лепесткам розы в моём саду!.. Пстой не уходи, Асият,— всемогущий аллах повелевает тебе слушать эту священную песню любви!..

Он взял её за плечи, удаляя от двери, и посадил на диван напротив бордового коврика с золотой звездой, а сам опять уставился в книгу, напевая таинственные арабские слова, которые в его голосе незаметно переходили в черкесские, и опять слова эти говорили о пламенных устах, жаждущих поцелуя, как жаждет раскалённый песок пустыни благостного дождя, как жаждет роза утренней росы.

Никогда ещё не слыхала Асият такой молитвы, и никогда ещё хаджи Шагит-Али не читал столько перед полуденным омовением. И зачем она сидит здесь, когда уже коврик расстелен и вода вылита в таз? Может быть, надо подняться и незаметно уйти?

Будто разгадав её мысли, эфенди снова обернулся к ней.

— Ты наша пурпурная роза, Асият... Косы твои ароматнее цветов в долине Ефрата... Премудрый аллах предначертал тебе великое счастье... Только будь ласкова со мной и послушной, будь нежной горлинкой, Асият... — Он придвигался, расставив руки в широких, свисающих рукавах, и нельзя было понять: улыбается он или угрожает своими пронзительными, сверкающими глазами, своими скулами, пылающими, как два раскалённых шара.

Охваченная ужасом, она поднялась, выставила руку, словно защищаясь.

— Садись, садись!.. Именем аллаха, садись! — зашептал старик, и шуршащие звуки его слов смешались с шелестом шёлкового аба.

Не опуская рук, не отводя взгляда от страшных глаз эфенди, она еле заметно пятилась назад.

— Садись, садись! — и тяжёлый удар мучительной болью ожёг её щеку, грубый толчок бросил её на диван.

Она вскочила, вскрикнув, как в мучительном сне, задыхаясь, не слыша своего голоса. Не переставая кричать, она оттолкнула руку, разодравшую ей платье на груди, и бросилась из комнаты на просторный двор, на солнечный свет.

Вслед громыхнул опрокинутый таз, грозный оклик, настигая, ударил её по сердцу.

— Эй, люди! Эй, правоверные! Держите бессовестную грешницу! Именем аллаха — не пускайте, не пускайте!

Она бежала изо всех сил, будто летела над разметёнными дорожками обширной усадьбы, но жуткий голос не отставал от её стремительного бега.

— Эй, держите распутную девку! Она лежала с мужчиною! Она преступила закон пророка! Убивайте, убивайте грешницу!

За калиткою навстречу ей метнулась высокая, с чёрным лицом, с ненавидящими огненными глазами фигура:

— Стой, змея безобразная! Не уйдёшь от меня! Не уйдёшь!

Длинные, худые руки протянулись к глазам Асият, резкой болью царапнули по щекам. Увернувшись, она ещё быстрее побежала вдоль улицы, непрерывно выкрикивая:

— Нанэ! Нанэ!

Но другой возглас, более громкий и протяжный, грозный мужской возглас, заглушал её стонущий крик, эхом перекатываясь по аулу:

— Эй, ловите, ловите согрешившую перед аллахом! Во имя пророка пресветлого побивайте её камнями!.. Эй, правоверные, правоверные!

Тревожный гул голосов раздавался во всех переулках. То там, то тут со скрипом распахивались ворота и калитки. Мужчины, женщины, ребяташки поспешно выскакивали к плетням и каменным заборам.

Она бежала, озираясь по сторонам, не смея приблизиться к людям, и однообразный вопль через ровные промежутки вырывался из её окровавленного рта:

— Нанэ! Нанэ! Нанэ!

Суровая осень дышала зимним холодом, густой иней опушил ветви деревьев и карнизы крыш, мягкая грязь на дорогах превратилась в кремнёво-жёсткие гребни.

Она бежала босая, в разодранном платье, с непокрытой головой. Волосы её развевались по ветру.

Замёрзшие лужи звонко хрустели под её ногами, разбрызгиваясь стеклянными осколками. Она была страшна, неузнаваема. И когда хриплый, неотвязчивый голос прокричал: «Это—чума, чума! Не пускайте чуму!»— наперерез ей полетели камни и комья заледенелой земли.

— О-гого-о-о!

— Держи! Держи!

— Эге-ей! Эге-ей!

На перекрёстке улиц от толпы отделился сутулый, длиннорукий парень в огромной косматой папахе, из-под которой блестели, вращаясь, одичало-белые глаза. Он бежал, замахнувшись кривым шестом с рогулькой на конце, и звуки, похожие на звериный вой, выражали всю его тупую, немилосердную злобу:

— Ого-го-го-о-ой! О-о-ой!

Зажав обеими руками разорванное на груди платье, она оторопело попятилась назад, кинулась в одну сторону, потом в другую, к невысокому плетню, увешанному колючими ветками терновника. Она перескочила через эту уродливую изгородь, в кровь ободрав ноги, и побежала по кочковатой земле, утыканной шипами срезанной кукурузы. Но и здесь полетели навстречу ей камни, палки, комья замёрзшей глины, вырванные с корнями, похожие на дубинки, стебли подсолнухов и чертополохов.

— Не пускайте, не пускайте её, несущую болезни! Не пускайте отвергнутую аллахом!— гремел, настигал всё тот же беспощадный голос, перекрывая разные голоса и шумы.

— Эге-ге-е-ей!

— Э-э-эй!

— О-о-о-ой!

Теперь, убегая от бесчисленных жестоких рук, от мучительных ударов, сыплющихся отовсюду — с земли и неба, она побежала через колючие плетни и заросли бурьяна, через насыпи булыжника и дикие пустыри. Она продиралась напрямик и кружилась на одном месте, падала, задыхалась и снова вскакивала, трепыхая лохмотьями рукавов, как перебитыми крыльями птица. Розовые цветочки и золотистые мотыльки на её платье исчезли в ошметках грязи, в тёмнобагряных, расплывающихся пятнах. И вся она, окровавленная, полуобнажённая, облепленная репьями и мусором, с растрёпанными волосами и обезумевшим взглядом, походила на призрак той болезни, которой сейчас хрипло пугали друг друга люди:

— Чума! Чума-а-а!

— Не пускайте чуму! Эге-э-ей!

— Не пускайте!

Бросаясь из стороны в сторону, как затравленный зверь, убегая от одной толпы и сталкиваясь с другой, она медленно приближалась к нижней окраине аула, туда, где виднелся крутой обрыв, где виднелись бедные камышовые крыши, откуда доносился приглушённый шум реки.

С каждым шагом преследователей становилось всё больше и больше. К людям присоединялись с могучими заливками псы, отвязанные с казанных цепей, горные овчарки, привыкшие не упускать волка даже в самую кромешную ночь.

Встав над обрывом, над рекою, серебрящейся с обеих сторон молодым ледком, Асият простёрла перед собою свои истерзанные, в свисающих лохмотьях руки, как простирала их ещё недавно навстречу жемчужному свету луны, навстречу неизведанному, туманному счастью.

— О, светозарная Адиюх!.. О, нанэ, нанэ!

Никто не заметил, как скрылась она под кручею в пыльном грохоте камней, смешавшемся с улюлюканьем толпы и лаем собак. Все увидели её уже бегущей по хрусткому, ломающемуся льду, за которым — по середине реки — бурлила и пенилась седыми бурунами незамёрзшая вода.

Асият бежала, запрокинув голову с распущенными волосами, то и дело проваливаясь и спотыкаясь, и руки её попрежнему были протянуты вперёд — к чужому берегу.

И на той стороне, услышав необычный шум у соседей, тоже начали собираться люди: сначала прискакали быстроногие подростки, а за ними потянулись взрослые. Теснясь вдоль ледяной кромки, они с недоумением наблюдали, как горланят и топчатыся над обрывом жители Деюко, как борется с холодными волнами окровавленная девушка.

Кто же она? Только сверкают сквозь брызги огромные, горящие глаза... Вот уже хватается она тонкими руками за края прибрежной наледи и снова падает в воду... Хватается снова...

— Не пускайте!.. Не пускайте-а-айте!— кричат с высокого берега.

— Эге-ге-е-ей!

— Она принесёт вам чуму!

— Не пускай-а-айте!

— Э-э-э-эй! Чума! Чу-ма-а-а!

Тогда загудел, зашевелился и этот молчаливый пологий берег. Кто-то и здесь крикнул:

— Чума идёт к нам! Не пускайте!

И отсюда полетели в реку булыжники, палки, оледенелые комья земли.

— Назад! Назад!

— Не ходи к людям, отверженная аллахом!

Она — похожая на страшный кровавый призрак—билась у самой ледяной кромки, то поднимаясь над водой, то опускаясь в её свирепую, крутящуюся пену. Она что-то кричала, оттягивая на шее чёрный шнурок с крошечным, чёрным мешочком, но никто не мог разобрать ни одного слова.

В неё летели камни.

— Уйди! Уйди!

И она откачнулась от звонкой ломающейся кромки, от чужого берега, от града беспощадных камней, откачнулась и поплыла, подхваченная белогривыми бурунами.

Теперь она не взмахивала руками, не кричала, никого не звала на помощь и никого не молила... Вот показался лоскуток серенькой тряпки... Вот тёмные волосы протянулись в бегущей струе... И опять лоскуток бесцветного платья...

И оба берега сразу умолкли.

Долго стояла тишина.

Не расходились на высоком берегу, не расходились и на отлогом.

Наступил вечер, толпы стали редеть. Последними ушли женщины. Тихие, скорбные, с опущенными головами, окутанные мраком осеннего вечера, они медленно двинулись по течению реки, в ту сторону, куда уплыла Асият.

Старая Нысэаф задышалась в горячечном жару, когда три бедные соседки робко, как тени, вошли в её хижину и, пугаясь собственного шороха, озираясь по сторонам, сказали ей, чтобы она... не ждала дочку домой... Пророк совершил свой грозный суд над молодой грешницей... Неисповедима воля всевышнего... Надо молиться и плакать и ещё ниже склонять голову перед могущественным ханджи Шагит-Али, верным служителем пророка.

Мать вскрикнула и поднялась, страшная, худая, желтолицая в дрожащем свете масляной коптилки. Не переставая стонать, она рвала на себе волосы, в кровь раздирала ногтями свои исхудалые щёки.

— О горе, горе!.. О, свет очей моих, ненаглядная Асият!.. Пустите меня умереть рядом с дочкою!.. Покажите, покажите к ней кровавую дорогу!..

Соседка говорила, что вода не оставляет никаких следов, как бы тяжки они ни были, что холодные волны Инжиджа теперь далеко унесли бездыханную девушку и что не следует ещё раз испытывать терпение аллаха, но ничем нельзя было удержать обезумевшую Нысэаф. Опираясь о стены и притолоки дверей, она выбралась во тьму двора, где шумел бесприютный ветер и сыпались, металась колючие снежинки. Снизу из-под кручи доносился другой шум — затаённо-угрожающий, ворчащий, однообразный и разноголосый. Она пошла на этот шум, падая и сползая по обрыву, отстраняя заботливые руки добрых женщин. Она приползла к ледяной кромке реки, прибрежным шершавым камням, не видимым во мраке, но хорошо различимым наощупь. И она ощупывала, перебирала один за другим большие и маленькие, угловатые и округлые, то напоминающие человеческую голову, то лицо, то плечо. Она приникала к ним ладонями своих дрожащих многотрудных рук, своей иссохшей материнской грудью, своим сердцем, своими потрескавшимися губами.

— Доченька... Асият, Асият... Доченька милая...

Горячий шёпот её заглушался шумом воды и ветра, дыхание её остывало на заледенелых, неподвижных булыжниках, и сила заметно уходила из её рук, из её заолодевших коленей, и никто, кроме ночи, не отзывался на слабый стон её. А она всё переползала от камня к камню, упрямо продвигаясь вперёд, рядом с бегущей во тьме рекою, рядом с дорогой её страшного горя.

— Асият!.. Асият!.. Асият!..

Соседка то склонялась над нею, уговаривая вернуться, то отставала, сама слабея, теряясь в непроглядном мраке, протяжно окликаая:

— Вернись... Вернись... Нысэаф!

Нысэаф остановилась — замерла возле большого, продолговатого камня, запорошенного сверху чуть белеющим снегом. Она теперь не двигалась и не отзывалась, сама похожая на безжизненный камень, на глыбку заледенелой земли.

Добрые подруги взяли её на руки и понесли назад.

Они шли очень медленно, удручённые страхом и горем, придавленные холодной тьмою, шли без дороги, среди нагромождений камней и коряг, а резкий ветер шатал их из стороны в сторону, будто хотел остановить их, бросить наземь, сравнять с чёрными валунами.

С большим трудом поднялись они со своей ношею по крутому обрыву, к безмолвной тёмной хижине.

На другой день Нысэаф похоронили.

Ещё ниже склонили свои головы женщины аула Деюко, ещё тише стали перешёптываться их голоса в печальных переулках, во дворах за глухими оградами, у дымных прадедовских очагов.

Спустя недели две по аулу прошёл слух, что неподалёку от селения, в сторонке от берега реки Инжидж, на склоне, поросшем кустами шиповника и тёрна, появился свежий бугорок, очень напоминающий собой могилу. Откуда он взялся? Кого здесь похоронили?.. И снова разнёсся слух, что это—могилка Асият, несчастной и грешной Асият, неведомо как загубившей свою душу... Но кто же отнял её у бурливого Инжиджа, кто осмелился вынуть из воды её, сражённую проклятием хаджи Шагит-Али, её, отвергнутую всеми правовеерными?

Вернувшиеся с горных пастбищ табунщики уверяли, будто бы они видели молодого всадника, который кружил на месте, где возникла могила. Кружил и кружил в непогожих сумерках... А двое пожилых чабанов рассказывали определённое: конь неподвижно стоял, опустив поводья, а молодой джигит усердно работал лопатой... Даже не оглядывался по сторонам — так был занят своим делом... Может быть, всё это примерещилось старым, никакого джигита и не было? Но кто же всё-таки насыпал этот одинокий могильный холмик? Не мог же он появиться сам по себе, как появляются расщелины в скалах или каменные завалы на горных дорогах?

Немного погодя жители аула Деюко опять удивлённо покачивали головами: таинственный бугорок из песка и глины был придавлен большим, продолговатым камнем, настоящим черкесским надмогильным памятником,— грани его были старательно обтёсаны чем-то острым, железным... Ясно, что здесь поработала усердная рука человека, такие глыбы от скал не отрываются... Самые любознательные подолгу стояли у загадочного камня, молчаливо разглядывая его насечки, трещинки, следы трудной работы...

Однажды в солнечный денёк сюда заглянули девушки,— робкая, насторожённая гурьба тех девушек, которые не так давно сбегали по этому склону вместе с Асият, летели лёгкими ласточками от светозарной башни Адиюх.

Тихо разговаривая о бесследно исчезнувшей подруге, они не заметили, как подъехал к ним молодой всадник,— стройный, красивый, чернобровый, но уж очень сурово-сосредоточенный,— большие, тёмные глаза его ввалились, поперек загорелого лба прочерчена прямая морщинка. Он негромко сказал: «Салам!» и остановил коня.

Молчали, стыдливо сгрудившись, девушки, молчал и странный всадник, чуть перебирая поводья. Наконец он спросил, не знают ли они имя той, которая бросилась в реку... Может быть, присутствовали тогда... Хмурый джигит не договорил, но девушки сразу поняли, что его интересует. Одна и другая, и третья назвали имя своей несчастной подруги:

— Асият...

— Асият...

— Да, да, Асият!

Всадник тоже назвал это имя, не то запоминая, не то переспрашивая:

— Асият, Асият!..— и медленно поехал вдоль реки.

Девушки смотрели ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за волнистыми прибрежными холмами. Тогда одна из них сказала:

— А вы помните, это — он!

И все вспомнили, как они возвращались от башни Адиюх и как неожиданно наехал на них весёлый, молодой табунщик: «Как вас зовут, девушки?» Ну, конечно, это был он!..

Потом его видели ещё несколько раз — у реки, на прибрежном склоне, у въезда в аул Деюко, над обрывом, где стоит заброшенная камышовая хатка... Парни и мальчишки к нему привыкли, даже узнали, как его зовут: «Аслан.. Аслан с того берега»... Почему-то суровый Аслан особо заинтересовался личностью хаджи Шагит-Али: то он приезжал вместе с другими всадниками на священную усадьбу эфенди, то разговаривал с женщинами и девушками, которые там работали, то расспрашивал о слугителе пророка своих сверстников—молодых табунщиков из здешнего аула... И несмотря на частые встречи с людьми, он оставался замкнутым, будто думал какую-то одну очень трудную, неотвязную думу.

А люди заметили, что подозрительный хаджи Шагит-Али не взлюбил этого мрачного всадника с чужого берега. При встрече с ним отворачивался, если случалось заговорить — больше трёх слов не ронял. Однако и премудрый слугитель пророка не смог отвернуться от своей судьбы. Когда зацвели дикие груши, алыча и терновник, в горах прогремел выстрел, эхо которого отдалось в каждом черкесском ауле, у каждого очага. Пуля, самая обыкновенная свинцовая пуля, повергла в прах слугителя пророка-хаджи Шагит-Али! Ни белоснежный аба, привезённый из Мекки, ни белоснежная чалма—достойный знак святости и благочестия, ни десятки самых спасительных дуа,— ничто не смогло защитить эфенди от кусочка металла, накалённого ненавистью горячего человеческого сердца.

Женщины будто онемели, поражённые ужасом, а мужчины раздумывали и толковали между собой: одни говорили, что здесь не обошлось без вмешательства злого духа, а другие осторожно намекали, что не было, ли у безгрешного эфенди таких тайных грехов, за которые следует расплачиваться уже на этом свете.

Отчаянного стрелка стали искать и нашли — «Аслана с того берега», заковали в железные цепи и отправили в далёкую Сибирь, где на тысячи вёрст раскинулись дремучие сосновые леса, оглашаемые кандалным звоном.

После рассказывали: когда перевозили связанного Аслана через реку Инжидж, он попросил конвоиров подать ему на память небольшой камешек, обточенный водой. И конвоиры будто бы исполнили его просьбу.

Прошёл год, другой, третий. Толки о страшных делах, происшедших в ауле Деюко, постепенно утихли. Новый эфенди писал больным и несчастным новые дуа. Новые дети выбегали на берега Инжиджа и перекидывали друг другу цветные камешки, иногда—с глазком посередине, иногда—обыкновенные.

Об Аслане вспоминали уже редко, но Асият не могли забыть. Пойдут, бывало, девушки ворошить сено и обязательно остановятся возле продолговатого камня, косо поставленного на прибрежном склоне. Эх, Асият, Асият, жалко нам тебя, бедную!

Однажды, в пору цветения горных лугов, остановившись, как и прежде, у печального памятника, девушки были удивлены и испуганы: на камне появились непонятные знаки—округлые, переплетённые друг с другом насечки, искрящиеся своими краями. Это были какие-то письмена. Но какие? И откуда они неожиданно появились? Чья загадочная рука вырезала загадочные знаки на пустынном камне? Ни одна из девушек не знала ни русской, ни арабской грамоты, а своей, черкесской, тогда и в помине не было...

Молодые черкешенки опасливо проводили пальцами по шершавым, извивающимся желобкам, но ничего не могли понять и ушли оттуда, встревоженные новой тайной.

Только через неделю-полторы набрёл сюда единственный грамотный на всю округу писарь. Важно сощурившись, он постучал железной тростью по загадочным знакам, несколько раз хмыкнул в прокуренные усы и оказал, нараспев произнося каждое слово:

— Эт-то рос-сий-ийские бук-вы: «А-а-си-и...»

Но что они значат — грамотей не поведал. Однако и без него все поняли: на камне проступило имя той, которая лежала под ним:

— Асият... Асият!

Будто напомнила о себе загубленная девушка: не забывайте моё имя, мою ужасную долю!

И опять пошли всевозможные слухи по аулам: одни считали надпись на камне необъяснимым чудом, другие утверждали, что это—дело рук искусного человека. Спорили и перешёптывались до той ночи, когда у склона над рекою Инжидж в кустах терновника и алычи был задержан охранниками худой, чернобородый черкес в странной одежде: холщёвая, давно не стиранная рубаха и холщёвые штаны, порыжелый, залатанный армяк русского крестьянина, на голове — вытертая баранья шапка, на ногах—верёвочные лапти. В мешке у него нашли щепоть соли, горбушку ржаного пересохшего хлеба, иззубренное долото и молоток да потрёпанную, сшитую суровыми нитками русскую книжку—букварь.

Жители аула глядели на него—узнавали и не узнавали, но всё-таки решили, что это—он, Аслан.

— Ты вырезал буквы на камне?—спросили его.

— Я,— сказал твёрдо и ясно.

А на другие вопросы отвечать отказался.

Аслана судили, снова заковали в железные цепи и снова сослали в холодную Сибирь.

В последний раз — и навсегда—он возвратился в долину Инжиджа в те дни, когда на русской земле прогремел великий гром революции.

Аслан был худ и сед, но глаза его смотрели твёрдо и прозорливо. В родном ауле у него не осталось ни одной родной души,— он жил то на правом берегу реки, то на левом. И люди душевно принимали «Аслана с того берега». Он умел класть печки и строить дома на русский лад, ему не стоило особого труда заполнить лист бумаги русскими словами, он многое умел, этот немного суровый, задумчивый старик. Но самое главное — он был удивительно чуток на правду и ложь, на доброе, справедливое дело. Если в каком-либо ауле решили строить школу—он уже там со своим поблескивающим топором, и глаза его светятся радостью. Если узнает, что упрямые, тёмные родители притесняют свою дочь или своего сына, то скажет смело и спокойно:

— Дайте им жить!

Если услышит звонкую песню молодых, то остановится и слушает, и скупые слёзы сползают по его щекам.

И ещё рассказывают, что в осеннюю непогоду, когда закружатся в воздухе белые снежинки, его можно встретить на склоне горы, где лежит камень Асият, но видеть его там почти никому не удавалось.